

II. Время Верденских боев.

Пятница, 25 февраля.

Вот уже пять дней, как армии кронпринца атакуют Верден с возрастающим упорством. Линия их наступления занимает фронт в 40 килом.; бомбардировка неслыханной силы.

Это самый трагический, самый, быть может, решительный момент войны со времени битвы на Марне.

Суббота, 26 февраля.

Назначение Питирима петроградским митрополитом повело к тому, что Распутин стал полным хозяином в церковных делах.

Так, он только что заставил капитулировать пред собой святейший синод, который должен был утвердить канонизацию „раба Божьего“, Иоанна Тобольского.

Принять Распутина, циничный архиерей Варнава, не рассчитывал на столь скорую и блестящую победу. Для полноты картины, этот Варнава будет посвящен в архиереи ¹⁾.

Воскресенье, 27 февраля.

Если признавать, что здоровье не есть что-нибудь иное, как гармония всех функций, как дружная работа

¹⁾ См. запись в дневнике от 10 янв. 1916 г.

всех органов, совместная энергия всех жизненных сил, то придется прийти к выводу, что русский исполин опасно болен. Ибо социальный строй России проявляет симптомы грозного расстройства и распада.

Один из самых тревожных симптомов—это тот глубокий ров, та пропасть, которая отделяет высшие классы русского общества от масс. Никакой связи между этими двумя группами; их как бы разделяют столетия. Эта особенность более всего сказывается в сношениях чиновников с крестьянами. Вот пример:

В 1897 г. правительство приступило к общей переписи населения, по всем правилам современной статистики. Впервые было предпринято мероприятие, столь широко поставленное и методичное. До того времени ограничивались областными сводками, приблизительными и суммарными. Агенты переписи встретили всюду крайнее к себе недоверие, а зачастую и прямое противодействие. Пошли нелепые слухи; народ верил разным выдумкам: говорили, что чиновники затевают новышенные военные налоги, хлебные поборы, увеличение податей, земельную ревизию в пользу помещиков, вплоть до восстановления крепостного права. Крестьяне подозрительно пересматривались, твердя друг другу: „Быть большой беде.. Добра от этого не жди.. Дьявольская эта затея“. А чиновники, пользуясь этими детскими страхами, брали взятки. Все это вело к еще большему углублению пропасти между двумя классами.

Повесть Короленко „На затмении“ дает яркую картину злобного и подозрительного недоверия русского крестьянина к представителям высших классов и вообще ко всем, кто стоят выше его по общественному или имущественному положению, по образованию или воспитанию. Дело происходит в городке на Волге, Астро-

номы приезжают туда наблюдать солнечное затмение. Присутствие этих иностранцев, их таинственные приготовления, их невиданные приборы очень волнуют жителей города. Появляется слух, что приезжие колдуны, слуги дьявола и антихриста. Их обступает недоверчивая, возбужденная толпа; с трудом охраняют они свои телескопы. Но вот наступает затмение; солнце темнеет. Тут вспыхивает гнев толпы. Одни вопят о безбожии астрономов, которые смеют исследовать небо: „Вот пошлет господь на них свой гром“. Другие, потеряв голову, кричат: „Пришел конец мира; началось светопредставление! Господи, смилуйся над нами!“ Но вот солнце снова выглянуло и толпа успокоилась; все благодарят бога за избавление от опасности.

Не менее показательны народные волнения, сопутствующие эпидемии и голодовке, столь частым в России. При каждом голоде появляется обычный слух: „Это господа и чиновники припрятали хлеб“ или же „чиновники и господа нарочно хотят извести народ, чтобы захватить себе землю“. При эпидемиях ненависть толпы всегда обращена против врачей, являющихся в их глазах представителями власти. „Говорят они непонятные вещи, чудят и разводят холеру, отправляя, по приказанию начальства, крестьян на тот свет“. Толпа сжигает больницу, громит лабораторию и иногда убивает врача.

Писатель Вересаев, дающий столь яркие картины русской жизни, несколько не грешит против истины, описывая печальный конец доктора Чекьянова; пылкий доктор решил посвятить свою жизнь служению народу; во время холерной эпидемии он проявляет чудеса самопожертвования; и все же невежественная толпа обвинила его в отравлении, всячески оскорбляла его и, на-

конец, избила до полусмерти. Чуть живой от побоев, он не только не винит своих мучителей, но чувствует к ним безграничную жалость; он пишет в своем дневнике: „Я хотел помочь народу, хотел отдать ему свои знания и силы, а он избил меня, как последнюю собаку. Только теперь я понимаю, как я любил народ; но я не сумел заслужить его доверие. Крестьяне уже начали чувствовать ко мне доверие,—но появилась четверть водки, и дикий примитивный инстинкт взял верх. Я чувствую, что умираю. Но ради кого я боролся? Во имя чего я умираю? Видно, так суждено было: народ всегда видел в нас чужих. Мы сами высокомерно отодвигались от него, не хотели его знать; непроходимая пропасть отделяет нас от него“.

Понедельник, 28 февраля.

В течение последних месяцев у русских замечается стремление преуменьшать значение военного содействия Франции. Несмотря на все наши усилия, путем газет, докладов и кинематографических лент, доказать интенсивность борьбы на западном фронте, здесь ее недооценивают. Мне не раз приходилось обращать внимание Сазонова, Горемыкина и генерала Сухомлинова на неправильную и даже недоброжелательную оценку событий в некоторых газетах.

Бои под Верденом все изменили. Теперь только оценили здесь героизм наших войск, искусство и выдержку нашего командования, громадное количество наших военных запасов и стойкий под'ем нашего общественного мнения.

Председатель Государственной Думы Родзянко приезжал ко мне сегодня передать поздравление с победой от лица членов Государственной Думы.

На улицах перед выставленными в окнах газетными сводками, мне не раз пришлось слышать разговоры „мужиков“ о боях под „Вердуном“.

Вторник, 1 марта.

Для ознакомления с положением вещей, в Петроград приехал бывший военный румынский министр Филипеско, член франкофильской партии в Бухаресте.

Он встретил наилучший прием у императора и Сазонова, но не высказал ничего, кроме общих мест, заявив о расположении Румынии к союзникам. Он сообщил мне через Диаманди о своем желании повидаться со мной и о том, что он сам уже был бы у меня, если бы не простуда, приковавшая его к постели.

Пятница, 3 марта.

Русское правительство по-прежнему обходит молчанием вопрос о восстановлении Польши. Это беспокоит Париж, где польский комитет, находящийся в Швейцарии, ведет умелую и деятельную пропаганду.

Я всеми силами стараюсь убедить здешнее правительство в том, что оно совершает крупную ошибку, задерживая об'явление полной автономии Польши: германские державы могут опередить его в этом. Мне приходится быть очень сдержанным в польском вопросе, так как у русских националистов слишком живо еще воспоминание о событиях 1863 года. Всего чаще и откровеннее говорил я об этом с Сазоновым. Я не скрываю от него, что принимаю в посольстве своих польских друзей: графа Маврикия Замойского, графа Владислава Велепольского, брата его Сигизмунда, графа Константина Платер-Зибера, Романа Скирмунта, графа Иосифа Потоцкого, Рембиеленского, Корвин-Милевского

и др.; делаю это уже потому, что все равно грозная „охрана“ извещает Сазонова о малейшем моем поступке. Посещения эти слегка беспокоят его за меня. Он сказал мне вчера: „Будьте осторожны. Польша—скользкая почва для французского посла“.

Я ответил ему, слетка изменив место из Рюи Блаза: „Польша и король ее грозят многими опасностями“.

Сдержанность, которую я должен проявлять по отношению к русскому правительству в польском вопросе—это еще меньшая из трудностей. Главным препятствием для немедленного его разрешения является разногласие, существующее в самом русском обществе по польскому вопросу.

Лично император, несомненно, не является противником либеральной автономии для Польши; он готов сделать большие уступки для ее сохранения под скипетром Романовых. Сазонов смотреть на дело так же и настойчиво убеждает императора не сходить с этого пути.

Зато русское общественное мнение, в общем, против выделения Польши из Российской империи. Враждебным отношением к Польше проникнуты не только национальные и бюрократические круги; оно проявляется и в Государственной Думе, и во всех партиях. Отсюда невозможность провести автономию Польши законодательным порядком. Разрешение этого вопроса кажется мне возможным только *motu proprio* императора, чем-то вроде *coup d'état*.

Меня уверяют, что таково мнение Сазонова и что он внушил эту мысль государю, но Штюмер и „потесдаемский двор“ этого не хотят; они видят в польском вопросе ловкий ход для примирения с Германией.

Суббота, 4 марта.

Я вел сегодня долгую беседу с Филиппеско, принявшим меня в румынской миссии, так как нездоровье не позволило ему побывать у меня.

Несмотря на недомогание, он с первых же слов заговорил с жаром и убеждением.

Предупредив меня, что он не облечен никакой специальной миссией и путешествует частным образом для ознакомления с положением вещей, он сказал мне следующее:

— Вы знаете, что для меня Франция вторая родина; вам известно, с каким нетерпением я жду наступления нашей армии. Я не скрываю от вас, что не являюсь сторонником нашего председателя совета министров; тем не менее, я согласен с Братиано в его нежелании вступать в войну ранее наступления часа общего действия союзников и ранее занятия Добруджи русской армией. Посылка русской армии на юг от Дуная нам необходима не только стратегически, она необходима для окончательного бесповоротного разрыва между Россией и Болгарией. Лишь только наши условия будут исполнены, мы немедленно займем Трансильванию. Но я сильно сомневаюсь, чтобы русское правительство и верховное командование смотрели на вещи так же, как мы.

Я отвечаю ему решительным тоном:

— У меня нет оснований предполагать, чтобы русское верховное командование не согласилось послать армию для занятия Добруджи. Что же касается вопроса, должны или не должны румынские войска поддерживать там русское наступление, то это касается оперативного плана. Во всяком случае, могу вас уверить

что русское правительство не намерено церемониться с Болгарией. Россия—совершенно лояльная союзница. Поскольку французская и английская армии будут продолжать вести военные действия против Болгарии на Солунском фронте, постольку Россия будет беспощадна к Болгарии, ручаюсь вам за это.

Мне кажется, что ясность моих доводов подействовала на Филиппеско. Он несколько раз вопросительно взглядывает на Диаманди, молча присутствующего при нашей беседе; тот каждый раз утвердительно кивает ему. Тогда я задаю Филиппеско решительный вопрос:

— Отчего Братияно отказывается от всяких переговоров?

Он делает гневный жест и отвечает:

— Потому, что политика его мелочная; никакой договор ему никогда не кажется достаточно выгодным; поэтому он упускает лучшие возможности, откладывая решение, которого требует вся Румыния; он доведет нас до того, что мы сделаемся вассалами Германии.

Возвращаясь к основному вопросу о заключении военного договора, я указываю Филиппеско на опасность, которой Братияно подвергает свою страну, затягивая окончательное выяснение условий помощи, которой он ожидает от России. Такая политика не соответствует заветной национальной мечте. Я продолжаю:

— Возможно, что решающий момент наступит раньше, чем предполагает Братияно. Между тем, заключение военной конвенции всегда требует времени—пройдет не менее двух-трех недель. Кроме того, требуется известный срок для ее осуществления; потребуется время на смычку железнодорожных линий и на постановку транспортных средств, организацию дела снабжения и т. д. При слабых организаторских способностях

русских, при слабо развитых у них представлениях о времени и пространстве, подобная задача потребует больше времени и будет затруднительнее, чем в какой-либо другой стране. В том случае, если бы Германия внезапно предъявила ультиматум Румынии, Братиано оказался бы виновным в преступной непредусмотрительности. Мне, пожалуй, понятно, что он не решается назначить определенный срок объявления войны. Но я не понимаю его нерешительности в заключении конвенции между верховным командованием России и Румынии, не требующей исполнения впредь до ратификации ее обоими правительствами. Неужели его удерживает боязнь разглашения конвенции? Но отношения между Германией и Румынией давно испорчены соглашением, заключенным ею с союзниками по трансильванскому вопросу. Разве это соглашение уже не получило огласки?

Филиппеско отвечает после продолжительной паузы:

— Задаю себе вопрос, не следует ли мне поторопиться с возвращением в Бухарест.

Воскресенье, 5 марта.

Когда Филиппеско передал Сазонову нашу вчерашнюю беседу, тот сказал ему: „Я совершенно согласен с мнением Палеолога“.

Филиппеско немедленно по выздоровлении уезжает в Бухарест.

Вторник, 7 марта.

Бои под Верденом идут с удвоенным ожесточением. Немцы атакуют нас крупными силами по обоим берегам Мааса; мы держимся на наших позициях, несмотря на жестокий обстрел и бешеные атаки.

Суббота, 11 марта.

Завтра Филиппеско выезжает из Петрограда для об'езда южного фронта, по пути в Бухарест.

Он заезжал проститься со мной.

— Благодарю вас, — сказал он, — за откровенно высказанное мнение; оно пригодилося мне, и я уезжаю под самыми лучшими впечатлениями. По возвращении в Бухарест, я буду оказывать на Братиано давление в указанном вами направлении, с которым я совершенно согласен.

Воскресенье, 12 марта.

Я испросил аудиенцию у императора, прибывшего в Царское Село, для того, чтобы осведомить его о Румынии и об общем положении дел; аудиенция назначена на завтра; церемониал обычный.

Вчера вечером император очень любезно пригласил меня присутствовать на кинематографическом представлении для его детей серии лент, изображающих сцены на французском фронте; приглашение это совершенно интимного характера; официальная же аудиенция остается на завтра.

Я приехал в Царское Село в пять часов. Кинематограф установлен был в большом круглом зале; перед экраном поставлены три кресла; вокруг них дюжина стульев. Почти тотчас же вышли император и императрица с великими княжнами и наследником цесаревичем, в сопровождении министра двора Фредерикса с супругой, обер-гофмейстера графа Бенкендорфа с супругой, полковника Нарышкина, г-жи Вукстевден, воспитателя наследника Жильяра и нескольких чинов дворцового управления. Во всех дверях столпились и выглядывают горничные и дворцовые служители. Импе-

ратор одет в походную форму; на императрице и великих княжнах простые шерстяные платья; прочие дамы в визитных туалетах.

Передо мной императорский двор во всей простоте его обыденной жизни. Император усаживает меня между собой и императрицей. Свет гасят, и сеанс начинается.

С глубоким чувством гляжу я на бесконечный ряд картин, изображающих живые подлинные события, столь наглядно подтверждающие усилия французов. Император восхищается нашей армией; он восклицает: „Как хорошо, какая отвага, как можно выдержать такой обстрел! Сколько заграждений перед неприятельскими окопами“.

Императрица, по обыкновению, молчалива; все же, поскольку она это умеет, она старается быть со мной любезной. Но до чего натянуты ее малейшие комплименты! До чего неестественна ее улыбка!

В продолжение двадцатиминутного перерыва, во время которого нам подают чай, император выходит в соседнюю комнату покурить, я остаюсь один с императрицей; бесконечным мне кажется этот tête-à-tête. Мы говорим о войне, об ее ужасах, о нашей несомненной и полной победе. Ответы императрицы отрывочны; она соглашается со всеми моими замечаниями, как соглашался бы автомат.

Вторая половина сеанса ничего не добавляет к первому впечатлению.

При прощании император сказал мне с любезностью, свойственной ему, когда он в духе: „Я очень доволен этим путешествием, совершенным с вами по Франции. Завтра мы долго поговорим“...

Понедельник, 13 марта.

В два часа дня я снова отправился в Царское Село; на этот раз согласно обычному церемониалу и в полной парадной форме.

При входе во дворец навстречу мне попадаетея группа офицеров, только что представивших турецкие знамена, взятые под Эрзерумом 15 февраля.

Это обстоятельство дает естественную основу для начала разговора с императором. Я восторгаюсь блестящими победами, одержанными его войсками в Малой Азии; в ответ мне император повторяет вчерашнюю похвалу героям Вердена. Он прибавляет:

— Я слышал, что, благодаря генералу Жоффру, его искусству и хладнокровию, ему удалось сохранить свои резервы. Надеюсь поэтому, что по истечении пяти, шести недель мы сможем начать одновременное наступление на всех фронтах. Снега, выпавшие за последние дни, не позволяют, к сожалению, рассчитывать на наступление раньше этого времени. Но будьте уверены в том, что мои войска поведут дружное наступление, лишь только они будут в состоянии передвигаться.

В свою очередь, я указываю ему на то, что Верденские бои знаменуют нам критический момент войны, и что вслед за ними начнутся решающие операции; поэтому необходимо предварительное взаимное согласие союзников по тем важнейшим дипломатическим вопросам, разрешение которых они считают нужным приурочить ко времени заключения мира.

— На этом основании я прошу ваше величество обратить все ваше внимание на договор, заключенный между Францией и Англией о Малой Азии; Сазонов завтра доложит вам о нем. Я не сомневаюсь, что ваше

правительство благожелательно отнесется к законным пожеланиям республики.

Я излагаю затем основания соглашения. Император возражает против предполагаемой конституции Армении.

— Это одна из самых сложных задач,—говорит он,—я еще не обсуждал ее со своими министрами. Лично я не мечтаю ни о каких захватах в Армении, за исключением Эрзерума и Трапезунда, стратегически нужных Кавказу. Не колеблясь, обещаю вам, что мое правительство приступает к обсуждению вопроса в духе того дружеского отношения, которое Франция проявляла к России.

Я указываю на спешность разрешения вопроса:

— Если союзники заранее разрешат все вопросы, могущие вызвать разногласия между ними, то при заключении мира они будут иметь громадное преимущество перед Германией. Уже разрешены вопросы о Константинополе, Персии, Адриатике и Трансильвании. Поспешим с разрешением малоазиатского вопроса.

Мне кажется, что мое заявление сказывает свое действие на императора, и он обещает стать на мою точку зрения при обсуждении его с Сазоновым. Я добавляю:

— Надеюсь, что из-за Малой Азии ваше правительство не забудет о левом берегу Рейна.

Румынские дела нас долго не задерживают. Император повторяет мне, что он телеграфировал 3 марта президенту республики; слова его так искренни и категоричны, что мне не о чем больше просить его.

Император встает, и я предполагаю, что аудиенция кончена. Но он отводит меня к окну, предлагает закутить и продолжает разговор; из окна видно прелестное сочетание яркого солнца и снега—сад как бы покрыт алмазной пылью.

Царь говорит со мной простым, искренним и открытым тоном, каким он никогда еще не разговаривал со мной. Он говорит:

— Сколько у нас будет общих великих воспоминаний, милейший посол! Помните нашу первую встречу здесь? Вы говорили мне о вашем предчувствии неизбежности войны и о необходимости для нас готовиться к ней. Вы передавали мне тогда же о странных признаниях, сделанных императором Вильгельмом королю Альберту. Ваши слова произвели на меня сильное впечатление, и я тотчас же передал их императрице.

Он вспоминает, обнаруживая при этом большую точность памяти, последовательно обед 23 июня на „Франции“, нашу прогулку вечером на его яхте после отбытия президента республики, события трагической недели, начавшейся на следующий день.

Вспоминает он день 2 августа, когда, при произнесении им торжественной присяги на евангелии по форме 1812 года в Зимнем дворце, император поставил меня рядом с собой; затем вспоминает он незабвенные московские торжественные дни и, наконец, наши с ним беседы, столь проникновенные и искренние.

Он постепенно воодушевляется этим длинным перечнем, обращающимся почти в монолог; мне лишь изредка приходится пополнять его речь своими замечаниями.

Когда он умолкает, я стараюсь подыскать фразу, могущую резюмировать нашу беседу, и говорю:

— Часто, очень часто, думаю я о вашем величестве, о вашей трудной задаче, бремени забот и ответственности, лежащих на нас. Однажды я даже пожалел вас, государь.

— Когда же это было? Очень тронут вашими словами.. Но когда же это было?

— В тот момент, когда вы приняли на себя верховное командование.

— Да, это была тяжелая для меня минута. Мне казалось, что Бог оставляет меня и что он требует жертвы для спасения России. Я знаю, что вы меня тогда понимали, и я не забываю этого.

— Я уверен, что в подобные минуты славная память вашего покойного отца является, после бога, наиболее твердой вашей опорой,—говорю я, указывая на большой портрет Александра III, висящий над письменным столом.

— Да, в трудные минуты, а их у меня так много, я всегда советуюсь со своим отцом, и он всегда вдохновляет меня. Но пора расставаться, милейший посол; у меня еще много дела, а на завтра назначен мой от'езд в ставку.

Он дружески жмет мне руку, прощаясь со мной в дверях. Из этой аудиенции, продолжавшейся больше часа, я выношу впечатление, что император настроен хорошо и уверенно смотрит на будущее. Вряд ли стал бы он в противном случае так благосклонно излагать наши общие воспоминания за время войны. Затем ярко проявились некоторые черты его характера: его простота, мягкость, отзывчивость, удивительная память, прямота намерений, мистицизм; в то же время и его слабая уверенность в своих силах и вытекающее из нее постоянное искание опоры во вне или в тех, кто сильнее его.

Вторник, 14 марта.

Чрезвычайно удачной оказалась мысль, внушившая Николаю II постройку Народного Дома в 1901 году.

За Петропавловской крепостью, на берегу Кронверкского канала, возвышается большое здание, заключающее в себе театральный и концертный зал, кинематограф, фойе, буфеты. Постройка выдержана в деловом стиле; задачей архитектора было создание обширного, хорошо приспособленного и умело распланированного помещения. Больше ничего от него не требовалось: все должно было быть подчинено началу целесообразности. Императором при этом руководило желание дать низшим слоям населения возможность развлечения за небольшую плату, в теплом, закрытом помещении; им руководило, кроме того, намерение ослабить растлевающее влияние кабаков и разрушающее действие алкоголя; водка изгнана из Народного Дома.

Начинание оказалось довольно удачным. Народный Дом вошел в моду; лучшие музыкальные и драматические силы наперерыв выступают там. За какие-нибудь двадцать копеек беднейшие слои населения могут присутствовать при исполнении лучших музыкальных и драматических произведений. Более состоятельные люди за два—три рубля могут иметь место в партере или ложе. Зал всегда переполнен. Ездят туда, не наряжаясь.

Сегодня я слушал бесподобного Шаляпина в „Дон-Кихоте“ Массенэ. Я пригласил в свою ложу княгиню Д. г-жу П. и Сазонова.

Я уже несколько раз слушаю „Дон-Кихота“ в Народном Доме; это далеко не лучшая опера Массенэ; в ней слишком много мест, спешно написанных и банальных; слишком чувствуются недостатки состарившегося композитора.

Но Шаляпин достигает высших степеней драматического искусства, неподражаемо изображая злостного

ния Дон-Кихота. Всякий раз меня поражает то напряженное внимание, которое публика высказывает к герою и к развязке действия. Мне казалось с первого взгляда, что роман Сервантеса, полный добродушия, здравого смысла, незлобивой иронии и скептицизма, чуждого разочарованности, покажется чуждым русским. Но впоследствии я нашел у Дон-Кихота несколько черт характера, трогающих русских, таковы: его великодушие, кротость, жалостливость, смирение, а главное, его способность отдаваться фантазиям, постоянное смешение галлюцинаций со здоровыми мыслями.

После сцены смерти, в которой Шаляпин превзошел себя, Сазонов сказал мне: „Как хорошо! Прямо божественно! Что-то почти религиозное“.

Четверг, 16 марта.

Сазонов сообщил мне, что императорское правительство сочувственно относится к соглашению, заключенному между парижским и лондонским кабинетами по вопросу о Малой Азии, за исключением пунктов, касающихся Курдистана, Трапезунда, с прилегающими областями: Эрзерумом, Битлисом и Ваном: эти территории Россия хотела бы получить для себя. Франции предлагаются области Диарбекира, Кормура и Сиваса. Я не сомневаюсь в согласии Братияно; вопрос этот, таким образом, решен.

Пятница, 17 марта.

Я пригласил к обеду нескольких театралов, выдающегося живописца и архитектора А. Н. Бенуа, молодых композиторов Кыратыгина и Прокофьева, певицу г-жу Незнамову и чинов посольства.

Незнамова поет нам несколько вещей Балакирева, Бородина, Мусоргского, Ляпунова и Стравинского; голос у нее звучный, и исполнение ее проникновенное. Во всех этих произведениях чувствуется народное их происхождение, несмотря на разнообразие оттенков, проникающих их. В течение длинных темных вечеров зимой, в глухих избах или среди бесконечных степных пространств родилась эта задумчивая мечтательная грусть, переходящая временами в грозное отчаяние. У Максима Горького есть яркое описание страдальческого опьянения, вызываемого музыкой в душе русского крестьянина. Во время перерыва пения г-жи Незнамовой один из приглашенных моих, живший среди крестьян, подтвердил мне жизненную правдивость эпизода, рассказанного в одной из повестей знаменитого писателя, особенно поразившую меня. Двое крестьян, один из них калека, другой чахоточный, встречаются с нищенкой в закоптелом кабаке. „Споем“, предлагает калека, без тоски не наладишь душу. Только грустной песней ее зажжешь“. И вот он запел рыдающим голосом, как будто задыхаясь. Товарищ вторил ему тихим стонущим голосом, произнося одни гласные. Полное безысходной задушевной тоски контральто присоединилось к ним. Начав петь, они поют без конца, убаюканные собственными голосами, звучащими то суровой страстью, то покаянной молитвой, то грустной и кроткой жалобой детского горя, то ужасом и безнадежностью, свойственными всем лучшим народным русским песням. Звуки плакали и таяли; временами казалось, что они умолкают, но они снова крепили, разрастались и замирали вновь. Слабый голос калеки подчеркивал эту агонию. Женщина пела, голос чахоточного рыдал. Казалось, плачущему пению не будет конца...

Вдруг чахоточный воскликнул: „Будет! Замолчите, ради Христа! Душа больше не терпит! Сердце у меня раскалось, как уголь“...

В заключение Каратыгин и Прокофьев сыграли нам несколько отрывков из своих произведений. Музыка очень сложная. Прошли времена, когда можно было упрекать русских композиторов в незнании музыкальной техники. Новая школа грозит, пожалуй, даже чрезмерным увлечением теорией. Каратыгин кажется мне посредственным последователем Скрябина; то, что он нам сегодня играл, пустошато по содержанию, слишком сложно и замысловато. У Прокофьева же, наоборот, изобилие мыслей, но они заглушаются погоней за переливами и за неожиданными созвучиями. Его сюита „Сарказмы“, тем не менее, мне нравится своей утонченностью, задушевностью и колоритностью.

Суббота, 18 марта.

Верховная комиссия, назначенная императором для расследования дела генерала Сухомлинова по упущениям в военном ведомстве, закончила свою работу и признала дело бывшего министра подлежащим передаче на рассмотрение военного суда.

Император утвердил это решение. Отныне генерал Сухомлинов исключен из числа членов Государственного Совета.

Вторник, 21 марта.

Верденские бои вызывают здесь большое восхищение всех слоев населения; мне ежедневно приходится в этом убеждаться. И к этому примешивается чувство досады и обиды при мысли о вынужденном бездействии русских войск. Для поднятия общественного настроения

император приказал начать широкое наступление в Виленском направлении и к югу от Двины, и это несмотря на неблагоприятное время года. Идут беспрерывные дневные и ночные ожесточенные бои между озерами Нарочь и Вишневским. Вчера немцы оставили несколько селений.

Сегодня генерал Алексеев послал генералу Жоффру телеграмму следующего содержания:

„Император поручил мне передать вам выражение истинного восхищения блестящим выступлением 20-го французского корпуса во время боев под Верденом. Его императорское величество твердо уверен, в том, что французская армия, верная славным заветам прошлого и руководимая доблестными военачальниками, заставит своего жестокого врага просить о пощаде. Вся русская армия с напряженным вниманием следит за подвигами французской армии. Она шлет своим соотечественникам по оружию пожелания окончательной победы и ждет только приказа о вступлении в бой против общего врага“.

Среда, 22 марта.

Сегодня я снова провел вечер в Народном Доме, слушая Шаляпина в „Борисе Годунове“, лучшей его роли. Лиризм Пушкина, реализм Мусоргского и драматическая сила Шаляпина так сплетаются между собой, что у зрителей создается полная иллюзия. Грозные события, вызванные появлением Лже-Дмитрия, изображены в ряде рельефных и ярких сцен; это синтез целой эпохи; чувствуешь себя перенесенным во время и обстановку драмы; принимаешь участие вместе с действующими лицами, в их чувствах, страхах, насилиях, в

их слабости, безумствах, галлюцинациях. В сцене смерти Шаяпин, как всегда, оказался на величайшей высоте. Когда перезвон кремлевских колоколов возвещает жителям Москвы о приближении кончины самодержца, когда Борис, преследуемый призраком мученика царевича, снесаемый раскаленным, с блуждающим взглядом, нетвердой походкой и со сведенными членами, призывает подать себе иноческое одеяние, в которое облекались, умирая, русские цари—тут настроение зрителей достигает наивысшего трагического ужаса.

Во время последнего действия г-жа С., сидящая в моей ложе, метко отмечает значительное место, уделяемое Мусоргским действию народных масс. Живописная толпа, окружающая главных артистов, не безразличная, однородная и инертная масса; она деятельна, она участвует во всех переживаниях игры, она всюду на первом плане. Хоровые партии многочисленны; они необходимы для развития самой драмы. Через все действие проходит участие темных роковых сил, всегда являвшихся вершителями событий в великие моменты русской истории. Поэтому-то так очаровано внимание зрителя. Г-жа С. добавляет:

— Будьте уверены, что здесь, в этой зале, сотни, а может быть, и тысячи людей, присутствуя на представлении, думают только о событиях настоящего времени и видят уже перед собой близкую революцию. Я присутствовала при аграрных беспорядках 1905 года, я была тогда у себя в деревне в Саратовской губернии. В революции русский народ интересуется не политическими или социальными идеями; они для него непонятны; его привлекают зрелища, красные знамена, иконы, церковные песнопения, расстрелы, убийства, торжественные похороны, разрушение, разгул и на-

сия, пожары, особенно пожары, зарево которых так эффектно светится по ночам.

Живая от природы, она, говоря это, воодушевляется, словно присутствуя сама при этих ужасах. Внезапно оборвав разговор, она замечает тихим, задумчивым голосом:

— Мы принадлежим к породе людей, любящих зрелища. В нас слишком много артистического, слишком много воображения и музыкальности. Мы плохо кончим...

Она задумчиво смолкает; в ее больших светлых глазах—выражение ужаса...

Четверг, 23 марта.

Обед в посольстве; приглашены около двадцати русских. Среди них Шебеко, бывший послом в Вене в 1914 году; затем несколько поляков, граф и графиня Потоцкие, князь Станислав Радзивилл, граф Владислав Велепольский; несколько проезжих англичан.

После обеда разговор с Потоцким и Велепольским; оба, основываясь на сведениях, полученных ими из Берлина через Швецию, говорят следующее: „Возможно, что Англия и Франция, в конце-концов, победят, но Россия в настоящее время войну проиграла. Константинополь она, во всяком случае, не получит и помирится с Германией за счет Польши. Орудием этого примирения будет Штюрмер“.

Одна из приглашенных русских, княгиня В., женщина благородной души и образованная, подзывает меня к себе.

— Я в первый раз упала духом,—говорит она;— до сих пор я еще надеялась, но когда во главе пра-

вительства стал этот ужасный Штюрмер, я потеряла всякую надежду.

Я стараюсь ее несколько утешить; делаю это для того, чтобы она высказала свою мысль до конца; я настаиваю на том, что у Сазоньва достаточно патриотизма, чтобы настоять на необходимости решительного продолжения войны.

— Это верно. Но неизвестно, сколько времени он сам пробудет у власти. Вы не представляете себе, что творится за его спиной и скрыто от него. Императрица ненавидит его за то, что он никогда не преклонился перед подлым негодяем, бесчестящим Россию. Я не называю этого бандита по имени, я не могу без омерзения произносить это имя.

— Я понимаю, что вы взволнованы и опечалены. До известной степени я согласен с вами; но я не впадаю в полную безнадежность; чем труднее времена, тем больше надо проявлять твердости, и вы, более кого-либо другого, должны это делать,—всем ведь известна твердость вашего характера; она многих поддерживает.

Она замолкает на минуту, точно прислушиваясь ко внутреннему голосу, и затем говорит мне, с серьезным, покорным выражением:

— То, что я скажу, может показаться вам педантичным, нелепым. Я очень верю в фатализм—верю так же твердо, как верили поэты древности, Софокл и Эсхил, убежденные в том, что даже олимпийские боги подчинены року.

— „*Me quoque fata regunt*“—вы видите, что из нас двоих педантом являюсь я, цитируя латынь.

— Что значит это изречение?

— „Я тоже подчиняюсь року“ — это слова Юпитера в произведении Овидия.

— Да, видно со времен Юпитера ничего не изменилось! Судьба, попрежнему, правит миром и даже провидение ему подчиняется. Мои слова не очень в духе православия; я не решилась бы повторить их перед святейшим синодом. Но меня преследует мысль, что судьба толкает Россию к катастрофе, и я страдаю от этого, как от кошмара.

— Что вы подразумеваете под словом судьба?

— Объяснить это я не сумею. Я не философ; я засыпаю над всякой философской книгой. Но я вполне познаю чувством, что такое судьба. Помогите же мне выразить то, что я чувствую.

— Судьба — это сила вещей, закон необходимости, закон природы, управляющий вселенной. Удовлетворяет вас это определение?

— Нисколько! Если бы этим была судьба, то она меня не страшила бы. Несмотря на то, что Россия очень большое государство, я не думаю, чтобы победа или поражение ее могли бы очень интересовать великие силы, правящие миром.

Совершенно просто, лишь изредка подыскивая слова, она определяет судьбу: эти слепые, неотразимые и таинственные силы, случайно решающие мировые события. Силы эти неукоснительно исполняют свои начертания и никакие человеческие усилия, меры предосторожности и расчеты не в состоянии остановить их; силы эти принуждают самих нас служить им, помимо нашей воли.

— Возьмите, — продолжает она, — императора; разве ему не суждено вести Россию к гибели? Не поражает ли вас его неудачливость? Трудно накопить в одно

царствование столько неудач, поражений и бедствий! Что бы он ни предпринимал, даже самые лучшие его начинания не удаются ему или обращаются против него. Какой же, рассуждая последовательно, должен быть его конец? А императрица? Трудно найти в древней мифологии фигуру, заслуживающую большего сожаления! А отвратительный негодай, имени которого я не хочу произносить? Разве и на нем нет печати рока? Чем можно объяснить, что в такой трудный исторический момент судьбы самого большого государства в мире отданы в руки этих трех лиц? Неужели это не кажется вам предначертанием рока? Отвечайте напрямки!

— Вы очень красноречивы, но все же не переубедили меня. Я считаю, что слово „судьба“ для слабых натур есть индульгенция, которую они сами себе выдают, за свою уступчивость. Продолжаю оставаться, по-прежнему, педантом и привожу новую латинскую цитату. У Лукреция есть удивительное место, определяющее силу воли: „*Fatis avulsa potestas*“, что можно перевести так: „сила, вырвавшаяся из-под гнета судьбы“. Наиболее пессимистически настроенный поэт признает, что с судьбой можно бороться.

После непродолжительной паузы княгиня говорит с печальной улыбкой:

— Как вы счастливы, что можете так думать! Сразу видно, что вы не русский. Обещаю вам подумывать о ваших словах. Но, ради бога, милейший посол, забудьте все, что я вам сказала. А, главное,—не повторяйте ни пред кем моих слов; мне неловко, что я была столь откровенна с иностранцем.

— Но я же союзник!

— Не только союзник, но и друг... И, все же, вы для меня иностранец... Итак, я рассчитываю на ваше

молчание, вы оставите при себе мои грустные мысли...
А теперь вернемся к вашим гостям..

Воскресенье, 26 марта.

Страшная борьба под Верденом продолжается.

Несмотря на глубокие снега и холода, русские, для оказания нам поддержки, перешли в наступление кое-где на Двинском фронте. Вчера они имели успех в районе Якобштадта и к западу от озера Нароч.

Понедельник, 27 марта.

Захватывающим интересом отличается психология русских преступников; это неисчерпаемый источник самых разнообразных, противоречивых, сбивающих с толку, невероятных наблюдений, одинаково ценных для врача, моралиста, юриста, социолога. Нет народа, у которого в труднейшую и более грозную форму облекались бы трагедия совести, зачатки свободной воли и атавизма, и вопросы личной ответственности и уголовной санкции. Вот почему любимой темой русских писателей и драматургов является изображение душевных переживаний преступников.

Я внимательно слежу за судебной хроникой через переводчика, ежедневно дающего мне обозрения печати; могу заверить, что русская литература не преувеличивает действительности; очень часто действительность опережает плоды писательского воображения.

Я всего чаще наблюдаю внезапное пробуждение у русских религиозного чувства немедленно по удовлетворении желания убить или ограбить. Надо прибавить,—как я уже несколько раз упоминал в своем дневнике,—что религиозное сознание русских имеет

своим источником исключительно евангельские заветы. Христианское понимание искупления греха и раскаяния живет в душах самых ужасных преступников. Почти всегда после высшего напряжения воли и разряда энергии, этих спутников преступления, у русских наступает внутреннее крушение. Опустив голову, с потухшим взором и нахмуренным лицом, русский человек впадает в мучительное отчаяние; в нем начинается тяжелый внутренний процесс. Вскоре отчаяние, стыд и раскаяние, неотразимое стремление привести повинную и искупить свой грех — совершенно овладевают им. Он кладет поклоны перед иконой, бьет себя в грудь и в отчаянии взывает ко Христу. Душевное состояние его можно охарактеризовать словами Паскаля: „Бог прощает всякого, в чьей душе живет раскаяние“.

Сказанное удивительно подтверждается эпизодом, рассказанным Достоевским в повести „Подросток“. Отбывший воинскую повинность солдат возвращается к себе в деревню. Однообразная жизнь среди крестьян невыносима ему после привычек, привитых военной службой; своим односельчанам он тоже не нравится. Он опускается, пьянствует. Он доходит до того, что грабит проезжего. Подозрение падает на него, но прямых улик нет. На суде, благодаря ловкости его защитника, его ожидает оправдание. Внезапно он вскакивает и прерывает речь защитника: „Постой! Дай мне говорить! Я все скажу“... И признается во всем. Затем начинает рыдать, бьет себя в грудь и громко кается. Вздволенные, тронутые присяжные выходят для совещания. Через несколько минут они выносят ему оправдательный приговор. Публика аплодирует. Преступник свободен, но он не двигается с места, он в полном отчаянии; выйдя на улицу, он идет наугад,

в состоянии какого-то ошеломления. Проведя бессонную ночь, он впадает в угнетенное состояние, он отказывается от еды и питья и ни с кем не разговаривает. На пятый день его находят повесившимся. Крестьянин Макар Иванович, которому рассказали этот случай, заметил: „Вот что значит жить с грехом на душе“.

Среда, 29 марта.

Бывший председатель совета министров Коковцов был сегодня у меня; я очень ценю его здравый патриотизм и ясный ум. Он, как и всегда, настроен пессимистически: мне даже кажется, что он старается скрыть от меня всю глубину своего отчаяния.

Говоря об общем внутреннем положении России, он придает больше значение деморализации русского духовенства. Его голос при этом дрожит и в нем слышится скорбное чувство; он заканчивает такими словами:

— Духовные силы страны переживают сейчас тяжелое испытание и вряд ли они его выдержат. Высшее духовенство почти сплошь находится в полном подчинении у Распутина и его клики. Это какая-то мерзкая болезнь, это гангрена, которая раз'едает церковный организм. Я готов плакать от стыда при мысли о тех гнусных проделках, на которые теперь пускается синод... Но для религии в России, в самом ближайшем будущем, есть не менее грозная опасность: это распространение революционных идей среди низшего духовенства, особенно среди молодых священников. Вы ведь знаете, как печально положение русских священников в материальном и в духовном отношениях. Деревенский поп живет обыкновенно очень бедно и теряет совершенно чувство собственного достоинства,

чувство стыда и уважение к своему сану и обязанностям. Крестьяне презирают его за праздность и за пьянство; между ними часто происходят ссоры из-за платы за требы, при этом, в случае чего, они готовы его оскорбить и даже побить. Вы не можете себе представить, сколько накапливается обиды и злобы в душе русского священника... Наши социалисты очень ловко воспользовались этим положением нашего духовенства. Уже лет десять как они ведут усиленную пропаганду среди деревенских попов, особенно среди молодежи. Таким образом, они вербуют борцов в ряды сторонников анархии и, кроме того, проповедников и учителей, влияющих на невежественную и мистически настроенную толпу. Вспомните роль, которую играл во время движения 1905 года священник Гапон: ведь, он оказывал какое-то прямо магнетическое влияние... Хорошо осведомленный человек говорил мне недавно, что революционная пропаганда проникает даже в духовные семинарии. Вы знаете, что семинаристы сплошь сыновья духовных лиц; по большей части они без всяких средств к существованию. То, что они в детстве видели в своей деревне, делает из них „униженных и оскорбленных“ Достоевского; поэтому ум их предрасположен к восприятию социалистического евангелия. А для того, чтобы окончательно сбить их с пути, их возбуждают против высшего духовенства, рассказывая о распутинских скандалах.

Четверг, 30 марта.

В секретном заседании бюджетной комиссии Думы закончено рассмотрение бюджета министерства иностранных дел. Сазонов несколько раз выступал. Он завоевал общее уважение и симпатию своим патрио-

тизмом, своей смелой откровенностью и высоким чувством долга. Таким образом, по этой части все обстоит благополучно.

Но в области внутренней политики, отношения между правительством и Думой становятся все более натянутыми и враждебными. Штюрмер за два месяца добился того, что теперь с сожалением вспоминают о Горемыкине. Вся бюрократия настроена очень реакционно. Если бы нарочно хотели вызвать революционный взрыв, то нельзя было бы ничего лучшего придумать! Я несколько не удивлюсь, если начнутся еврейские погромы, провокация со стороны полиции и бесчинства черной сотни.

Думская левая особенно возмущается тем, что верховный суд приговорил к ссылке в Сибирь пять депутатов-социалистов за революционную пропаганду. Они были арестованы в ноябре 1914 г., когда Ленин, эмигрант, живущий в Швейцарии, начал свою пораженческую работу таким заявлением: „Русские социалисты должны желать победы Германии, т. к. поражение России повлечет за собой падение царского режима“. Пять депутатов: Петровский, Шагов, Бадаев, Муранов и Самойлов, сначала обвинялись в измене; но затем это обвинение было изменено и их судили за попытку устройства восстания в армии. Известный адвокат Соколов и адвокат трудовик Керенский защищали их очень удачно, но приговор был, тем не менее, вынесен очень суровый.

В своей защитительной речи Керенский заявил: „Обвиняемые никогда не стремились вызвать брожение в армии; никогда не желали поражения нашей армии; они никогда не протягивали руки неприятелю через головы тех, кто умирает на фронте, защищая родину.

Напротив, они боялись, чтобы русские реакционеры не заключили союза с германскими реакционерами "... Этот намек на тайное соглашение между русским самодержавием и прусским абсолютизмом имеет большие основания. Но я столько же уверен, что ведется подпольная работа, что русские социалисты готовят измену, обращаясь для этого к худшим инстинктам рабочих и солдат.

Суббота, 1 апреля.

Был у Штюмера по делу, касающемуся его министерства.

Приторно-любезно, но с видом искренности, он обещает мне очень много:

— Я прикажу своим подчиненным, ваше превосходительство, сделать все возможное для вас; а что они признают невозможным сделать, то я сделаю сам.

Я выслушиваю эти громкие слова и затем обращаюсь к нему уже не как к министру внутренних дел, а как к председателю совета министров, и указываю на те препятствия, которые бюрократия систематически чинит частным предприятиям, работающим на оборону; передаю ему несколько случаев, происшедших недавно и говорящих о недоброжелательном отношении администрации, об ее беспечности и допускаемом беспорядке.

— Я взываю к вашему высокому авторитету с надеждой, что вы прекратите эти скандальные злоупотребления,—говорю я.

— Помилуйте! Скандальные—это слишком сильно сказано, господин посол! Я могу допустить только некоторую небрежность и очень благодарен вам за указание на нее.

— Нет, то, что я вам передаю и за верность чего я ручаюсь, нельзя об'яснять одной небрежностью; тут есть и преднамеренность, есть систематическое чинение препятствий.

Приняв огорченный вид, прикладывая руку к сердцу, он уверяет меня, что администрация исполнена преданности, усердия, что она безупречно честна. Я еще более настаиваю на своих обвинениях; я доказываю цифрами, что Россия могла бы сделать для войны втрое или вчетверо больше; Франция, между тем, истекает кровью.

— Но мы потеряли же на полях битв до миллиона человек,—воскликает он.

— В таком случае Франция потеряла в четыре раза больше, чем Россия.

— Каким образом?

— Расчет очень простой. В России 180 миллионов населения, а во Франции 40. Для уравниения потерь, нужно, чтобы ваши потери были в четыре с половиной раза больше наших. Если я не ошибаюсь, то в настоящее время наши потери доходят до 800.000 человек... И при этом я имею в виду только цифровую сторону потерь...

Он возводит глаза к небу:

— Я никогда не умел оперировать с цифрами. Но одно могу вам сказать, что наши несчастные мужики безропотно отдают свою жизнь.

— Я это знаю; ваши мужики бесподобны; но я жалуюсь на ваших чиновников.

Он с величественным видом поднимает брови, выпрямляется и говорит:

— Господин посол, я сейчас же проверю все то, что вы были так добры мне сообщить. Допущены были

ошибки и виновные будут беспощадно наказаны. Вы можете рассчитывать на мою энергию.

Я благодарю его наклонением головы. Он продолжает в том же тоне:

— Я очень мягок по природе, но когда дело идет о пользе царя и России, я не остановлюсь ни перед каким строгостями. Будьте во мне уверены. Все пойдет хорошо; да, все пойдет хорошо, с божьей помощью.

Я уйду, заручившись этими пустыми обещаниями, и очень жалею, что он не обратил внимания на мой намек на численное значение русских и наших потерь. Мне хотелось бы ему объяснить, что, при подсчете потерь обоих союзников, центр тяжести не в числе, а совсем в другом. По культурности и развитию, французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 мил. жителей 150 м. неграмотных ¹⁾. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения, наши потери чувствительнее русских потерь. Говоря так, я вовсе не забываю, что жизнь самого невежественного человека приобретает бесконечную ценность, когда она приносится в жертву. Когда убивают злополучного мужика, то нельзя произносить над ним такое напутствие: „Ты был неграмотен и твои загорелые руки годились только для плуга... И потому ты не много дал, пожертвовав своей жизнью“... Я далек от мысли повторять про этих незаметных героев презрительные слова Та-

¹⁾ Совершенно неверные сведения. *Примеч. переводч.*

цита, сказанные им о христианских мучениках: „Si interissent, vile damnum“. (Невелика беда от их гибели). Но с политической точки зрения, с точки зрения реальной помощи союзу, доля французов значительно больше.

Воскресенье, 2 апреля.

Военный министр ген. Поливанов смещен и на его место назначен Шуваев, человек очень недалекий.

Отставка ген. Поливанова — большая потеря для союзников. Он привел в порядок, насколько это было возможно, военное управление; он положил предел, насколько это было в его силах, ошибкам, небрежности и хищениям, случаям измены, столь процветавшим при его предшественнике, генерале Сухомлинове. Он был не только выдающимся администратором, методичным и находчивым, честным и бдительным — у него было редкое стратегическое чутье, и генерал Алексеев, который не очень любит чужие советы, с его указаниями очень считался.

Он, по убеждениям, был либерал, но остался в то же время вполне лояльным; у него было много друзей в Думе среди октябристов и кадетов, возлагавших на него надежды. Он казался им надежной опорой государственного строя, способным защитить его как от безумств самодержавия, так и от крайностей революции.

Доверие к нему Думы вредило ему в глазах императрицы. Старались подчеркнуть его сношения с лидером октябристов, Гучковым, личным врагом их величеств. И вот еще раз, по слабости характера, император пожертвовал одним из лучших своих слуг.

Но меня уверяют, что отставка ген. Поливанова не предвещает какого-либо изменения во внутренней политике. Император недавно еще приказал Штюмеру избегать столкновений с Думой.

Четверг, 6 апреля.

Максим Ковалевский скончался после краткой болезни.

Он родился в 1851 г. и был профессором Московского университета и членом Государственного Совета; одна из наиболее ярких фигур кадетской партии ¹⁾.

Его идеалом была справедливость и он обладал качеством, столь редким в России... и не только в России: терпимостью. Антисемитизм возмущал его до глубины души. Как-то, рассказывая мне о безобразиях по отношению к евреям со стороны существующего режима, он привел слова Стюарта Милля: „В цивилизованной стране не должно быть париев“. Во время нашей последней беседы он дал мне понять, что ясно видит серьезное положение России и всю трудность изменения существующего строя без разрушения всего здания. Особенно беспокоило его невежество народа. И в этом он соглашался со Стюартом Миллем, сказавшим: „Для возможности всеобщего голосования необходимо образование“.

Пропорционально числу жителей, Россия—страна, следующая за Китаем в смысле небольшого числа образованных и утонченных людей. Поэтому кончина М. М. Ковалевского является, с национальной точки зрения, очень чувствительной утратой.

¹⁾ См. запись в дневнике от 13 сентября 1915 г.—М. М. Ковалевский никогда в кадетской партии не состоял.

Прим. переводч.

Понедельник, 10 апреля.

Обедаю у Донона с графом и графиней Потоцкими, князем Радзивиллом и его племянницей, княгиней Радзивилл, графом Броель-Плятером, князем Владиславом Велепольским и др.

Общество чисто польское и потому все высказываются совершенно свободно.

Из того, что говорится из сообщаемых фактов в смягченных выражениях—я заключаю, что война, для которой Центральная и Западная Европа так напрягает все свои военные и политические способности,—и морально, и материально не по плечу России.

После обеда Велепольский отзывается меня в сторону и высказывается совершенно откровенно:

— Я учился, в свое время, в берлинском университете и, сознаюсь, у меня осталось глубокое и, скажу, отрадное впечатление о том времени. Тем не менее, я глубоко ненавижу Пруссию и я вполне лояльный подданный Николая. Но следы немецкого воспитания остались во мне, и когда я начинаю „philosophieren“ о России... то...

И обильным подбором исторических аргументов, он старается доказать мне, что, при всей своей внешней мощи, Россия наиболее слабая из воюющих сторон и потому должна первая сдать,—она мало производит, вследствие своей общей отсталости; но с другой стороны, слабо развитое национальное самосознание не может сопротивляться разлагающему действию долгой войны.

Вторник, 11 апреля.

Третьего дня бои у Вердена достигли, повидимому, наибольшего напряжения и ожесточения. Яростный натиск германских атак нами успешно отбит по всей линии.

Никогда еще во всей нашей истории душа француз не поднималась до такой высоты. Сазонов, чуткий по природе, говорил со мной об этом сегодня.

Среда, 12 апреля.

Князь Константин Брюель-Плятер уезжает в Лондон, Париж и Лозанну, для совещания со своими соотечественниками-поляками.

Я пригласил его сегодня к завтраку; были еще князь Владислав Велепольский и князь Иосиф Потоцкий; больше никого не было, и мы могли говорить совершенно свободно.

На основании вчерашней конфиденциальной беседы с Сазоновым, я мог уверить их в том, что император, попрежнему либерально настроен по отношению к Польше.

Велепольский ответил мне на это:

— Я совершенно спокоен относительно намерений императора и Сазонова. Но Сазонов может не сегодня — завтра исчезнуть с политической арены. И в таком случае, чем мы гарантированы против слабости императора?

Плятер считает, что Сазонов должен взять в свои руки решение польского вопроса и сделать его международным.

Я решительно восстаю против этой мысли. Предложение сделать польский вопрос международным вызвало бы взрыв негодования в русских националистических кругах и свело бы на нет симпатии, завоеванные нами в других слоях русского общества. Сазонов также резко воспротивился бы этому. А банда Штюмера подняла бы крик против западной демократиче-

ской державы, пользующейся союзом с Россией для вмешательства в ее внутренние дела. Я прибавляю:

— Вы знаете, как к Польше относится французское правительство. Я могу вас уверить, что оно не перестает заботиться о вас. Но ее содействие будет тем действительнее, чем оно будет меньше заметным, чем меньше будет оно носить официальный характер. Я же пользуюсь каждым случаем говорить с министрами о Польше; я узнаю, выясняю их взгляды, их колебания и их возражения по поводу сложной и трудной задачи провозглашения польской независимости. Рассматриваемые даже, как только частные мнения, их неоднократные заявления (ни один из них, даже Штюрмер, не решался возражать при мне против намерений императора по отношению к Польше) создают нечто вроде нравственного обязательства, которое даст возможность французскому правительству, при окончательном решении, выступить с исключительной авторитетностью.

Плятер обещает поговорить в таком направлении со своими соотечественниками; но он не скрывает от меня, что ему трудно будет переубедить их.

Пятница, 14 апреля.

Несмотря на опасность, продолжительность и трудность путешествия, почти каждую неделю кто-нибудь да приезжает сюда из Франции—офицеры, инженеры, коммерсанты, журналисты и т. д. Те, кто остаются надолго и кто от природы наблюдательны, говорят мне, что они неприятно поражены сдержанным и даже холодным отношением либеральных русских кругов к Франции.

К несчастью, это так. Взять хотя бы газету „Речь“, официальный орган кадетов, — это один из органов печати, особенно охотно замалчивающих наши военные действия и редко удостоивающих похвалы наши войска; эта газета особенно охотно отмечает медлительность и ошибки нашей стратегии. За исключением Милюкова, Шингарева, Маклакова и некоторых других, большинство в к.-д. партии все еще не может забыть своего давнего и упорного недоброжелательства к Антанте.

Недовольство это началось десять лет тому назад. После неудачной японской войны, по всей России начались бунты, забастовки, заговоры, убийства правительственных агентов, восстания во флоте и армии, аграрные беспорядки, погромы. Казна в то время была совершенно пуста. Велись переговоры о займе в два миллиарда двести пятьдесят миллионов франков на парижском денежном рынке. Эмиссия была очень соблазнительна для наших банков и нашей прессы. Правительство Республики не могло сразу решиться дать согласие на эту операцию, так как наша крайняя левая требовала, чтобы условия займа были представлены на утверждение Государственной Думы, которая в таком случае стала бы диктовать свои условия царскому правительству. Конечно, граф Витте противился этому всеми силами. Положение французского радикального кабинета, под председательством Леона Буржуа, было очень щекотливое: давать ли Франции деньги на поддержку монархического абсолютизма в России? В столкновении между русским народом и самодержавием на чью сторону должна стать Франция: на сторону угнетателей или — угнетаемых? Одно обстоятельство заставило наших министров согласиться на ходатайство император-

свого правительства. Обстоятельство это было неизвестно французскому общественному мнению. Дело заключалось в том, что отношения между Францией и Германией в то время были очень натянутые; Алжирасский договор был лишь дипломатическим перемирием. С другой стороны, мы знали о ловких интригах императора Вильгельма, которыми он старался опутать Николая, с целью заключить с ним союз, который Франции пришлось бы допустить. Можно ли было при таких условиях разрывать с царизмом? В апреле 1906 года правительство Республики согласилось на реализацию русского займа. Этим оно оставалось верно основному началу нашей внешней политики: считать мирное развитие мощи России главным залогом нашей национальной независимости. Но такая политика Франции вызвала взрыв возмущения в демократических кругах Думы.

И это чувство живо до сих пор.

Суббота, 15 апреля.

Я был с визитом у г-жи Танеевой, супруги статс-секретаря и директора канцелярии его величества, матери г-жи Вырубовой.

Я давно не был у нее, хотя мне всегда приятно беседовать с ней, в ее старинных покоях в Михайловском дворце; она хранит так много воспоминаний о старине. Ее отец, генерал-адъютант Илларион Толстой, был близок ко двору Александра II; ее дед по матери князь Александр Голицын, состоял при великом князе Константине Николаевиче во время его наместничества в Польше. Кроме того, вот уже сто лет, как в семье Танеевых от отца к сыну переходит место директора канцелярии его величества.

Она как-то показывала мне дневник своей бабушки, княгини Голицыной, времен польского восстания 1830—31 г. Из него видно, как неверно русские понимали тогда Польшу, и с каким великодушием они прощали полякам три преступные раздела их родины...

Но сегодня я говорил с ней не о Польше, а старался расспросить ее об ее дочери, г-же Вырубовой, о разнообразных обязанностях, которые она несет при дворе с неослабным усердием, к которому ее обязывает доверие императрицы.

— Да, — сказала она, — моя бедная Аня иногда страшно устает. Ни минуты покоя... С тех пор, как император уехал в ставку, императрица завалена работой; она хочет быть в курсе всех дел. Этот славный Штюмер с ней постоянно советуется. Она готова работать. Но, в результате, моей дочери приходится писать массу писем, нести массу хлопот.

Среда, 19 апреля.

Вчера русские взяли Трапезунд. Успех этот, быть может, оживит в умах мечту о Константинополе, о котором почти совсем забыли за последнее время.

Четверг, 20 апреля.

Сегодня страстной четверг и, согласно обычаю, послы и посланники католических держав были сегодня в парадной форме у обедни в часовне Мальтийского ордена.

В тесной церкви, украшенной восьмиугольными крестами, перед креслом Великого Магистра Ордена и при виде латинских надписей, я, как и в прошлом году, вспоминаю о причудах безумного Павла. Как и в прошлом году, торжественная литургия напоминает

мне о потерях, понесенных Францией, о тысячах погибших, число которых продолжает расти. Будут ли когда-либо снова принесены такие жертвы? Особенно вспоминаю я героев Вердена, которые так возвеличили извечные французские доблести, которые так просто и вдохновенно шли на подвиг.

Пятница, 21 апреля.

И в этом году Пасха по русскому и грегорианскому календарю совпадает.

К вечеру, княгиня Д..., которая отличается широтой взглядов, и любит „ходить в народ“, повезла меня по церквам, расположенным в рабочих частях города.

Мы недолго остаемся в блестящей и роскошной Александро-Невской Лавре; едем затем в небольшую церковь Воздвижения Креста Господня, близ Обводного канала, в Троицкий собор в конце Фонтанки, наконец, в церковь Св. Екатерины и Храм Воскресения, что расположен у Невы, среди заводов и верфей.

Всюду яркое освещение, всюду прекрасное пение—чудные голоса, превосходная техника, глубокое религиозное чувство. На всех лицах отражение глубокой, мечтательной, смиренной и сосредоточенной набожности.

Мы остаемся больше всего в церкви Воскресения, где толпа особенно проникновенно настроена.

Вдруг княгиня Д... толкает меня локтем:

— Посмотрите,—говорит она,—разве это не трогательно!

И глазами она указывает мне на молящегося крестьянина, стоящего в двух шагах от нас. Ему лет под пятьдесят; на нем заплатанный полусубок; он высокого роста, чахоточного вида; лицо плоское; морщини-

стый лоб; редкая с проседью борода; впалые щеки. Руки прижаты к груди и судорожно сжимают картуз. Несколько раз он прижимает сложенные пальцы ко лбу и в груди и шепчет синеватыми губами: „Господи помилуй“. После каждого возгласа, он испускает глубокий вздох и глухой и скорбный стон. Затем он опять становится неподвижным. Но лицо остается выразительным. Фосфорическим светом горят его светлые глаза, которые видят что-то невидимое.

Княгиня Д... мне шепчет:

— Смотрите! В эту минуту он видит Христа...

Провожая мою спутницу до дому, говорю с ней о религиозном чувстве русских; я привожу слова Паскаля: „Вера—это познание бога сердцем“. И спрашиваю, не думает ли она, что можно сказать: „Для русских, вера—это есть Христос, познаваемый сердцем“.

— Да, да,—воскликает она,—совершенно верно!

Суббота, 22 апреля.

Сазонов с раздражением говорил мне сегодня утром:

— Братиано продолжает свою игру. У него был вчера полковник Татаринов, русский военный атташе в Букаресте, прибывший из Румынии с докладом императору. По его мнению, соглашение русского главного штаба с румынским главным штабом легко достигнуть при условии русского наступления в Добрудже. Его переговоры с генералом Илиеско позволяли ему думать, что принципиально конвенция уже закончена на основании этих переговоров. Но когда он прощался с Братиано, то последний твердо заявил требование, чтобы русская армия поставила себе главной и немедленной целью взятие Рущука, для защиты Букареста от нападения со стороны болгар. Генерал Алексеев

считает, что это требование, не принимающее во внимание затруднительность перехода в 250 километров по правому берегу Дуная, указывает лишний раз на желание Братиано уклониться от заключения военной конвенции.

— А в Париже непременно скажут,—прибавляет Са-
зонов,—что это Россия противится вмешательству Ру-
мынии в войну.

Воскресенье 23 апреля.

На Неве ледоход; быстро несутся громадные льдины из Ладожского озера; это конец „ледникового периода“.

Возвращаясь с конца Английской набережной, где я был с визитом, вижу камергера Б.; он с трудом пробирается по мокроте, а ветер пронизывающий, резкий. Я предлагаю ему сесть ко мне в экипаж. Он соглашается и начинает развивать свои пародоксальные фантазии, которые иногда полны блеска и виртуозности, достойной Ривароля.

На Сенатской площади, где возвышается памятник Петру I, это чудное произведение Фальконета, я еще раз люблюсь величественным монументом царя законодателя, который с высоты своего коня, поднявшегося на дыбы, как будто повелевает течением Невы. Б. снимает фуражку.

— Привет тебе,—говорит он,—величайший революционер!

— Разве Петр I был революционером? Он мне представляется скорее реформатором, грубым, стремительным, не знающим меры, без сомнений и жалости, но обладающим великим творческим духом и инстинктом порядка и иерархии.

— Нет! Петр Алексеевич был мастер только разрушать. И в этом он был глубоко русским. Со своим

диким деспотизмом он все рубил с плеча, все разрушал. В продолжение 30 лет он пребывал в состоянии восстания против своего народа; он воевал со всеми нашими национальными привычками и обычаями; он все поставил вверх дном, даже нашу святую православную церковь... Вы считаете его реформатором? Но истинный реформатор считается с прошлым, различает возможное от невозможного, смягчает переходы, подготавливает будущее. Разве он так действовал? Он разрушал во имя свирепой радости разрушения, для грубого удовольствия сваливать препятствия, для насилия над совестью, для уничтожения всех самых естественных и законных чувств... Когда теперешние анархисты мечтают о разрушении социального строя для коренной перестройки его, они, сами того не ведая, вдохновляются Петром Великим; они, как он, также страстно ненавидят прошлое; они, как и он, считают возможным переродить народную душу при помощи указов и казней...

— Пусть так. Но я, все-таки, желал бы, чтобы он воскрес. Он 21 год вел войну со шведами и кончил тем, что продиктовал им мир. Он теперь продолжал бы еще год или два войну с бошами... Ему нашлась бы работа, этому титану воли...